

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тот тяжкий день ассоциируется у меня с пронзительным холодом и ослепляющим солнцем. А ведь была уже середина апреля, облитые светом деревья в Москве стояли в зеленоватой дымке. Больше тридцати лет назад. Немногие уже старые друзья спрашивают: когда ж ты расскажешь, наконец, о нем? О своем отце? Все тридцать лет спрашивали. И вот уже миновало столетие со дня его рождения.

Да я ж вам, ребята, столько рассказывал! Смеялись. Покачивали головами с многозначительным «М-да!..» и продолжали настаивать, чтоб все-таки не трепался, а написал. А я и писал помаленьку, никуда не торопясь и веря, что жизнь бесконечна и всегда все можно успеть — если ты очень того хочешь. А потом вдруг, как у человека, по собственной, неосознанной дури опаздывающего на поезд, выясняется, что времени-то совсем в обрез, и пора уже не чинно шествовать, и даже не бежать, а мчаться на вокзал, к вагону, и умолять проводника: еще минутку! Ну, хоть секундочку! И ты осознаешь, что отговорками отделяваться поздно, тут — или-или, и никаких больше обещаний.

И еще пришло понимание одного интересного момента, на который прежде не обращал внимания. Речь, собственно, о том, что у моего поколения — а оно теперь кругом старше — не могло возникнуть вопроса: кто такой Евгений Вучетич, как нынче выражаются, — по определению. Не знать его было просто нельзя. Или не совсем, скажем так, прилично для нормального, элементарно образованного человека. В следующем поколении — наших детей, — конечно, знали о нем, но далеко не все, и вспоминали главным образом по различным громким памятным делам и датам. Грандиозные скульптурно-архитектурные ансамбли в Берлине и Волгограде, памятники героям Родины, известные скульптурные композиции, бюсты, портреты, исчисляемые сотнями, — многие из них уже превратились в государственные символы, размноженные на плакатах, медалях, металлических рублях, значках, праздничных поздравительных открытках и марках...

Ну а внуки — им гораздо сложнее. Время другое, иные приоритеты, интересы, да и о символах что теперь говорить... А главное, нынче и проповедники другие, готовые отбросить прошлое, выплеснув из корыта вместе с грязной водой и ребенка. Так, может, не стоит будоражить людей воспоминаниями?

Но с другой стороны, в 2008 году, то бишь вчера, исполнилось уже сто лет со дня его рождения. А, можно сказать, завтра, в 2010-м — мы будем отмечать 65-летие Великой Победы над фашизмом, той Победы, которой скульптор Вучетич и отдал фактически всю свою жизнь и все творчество, что называется, без оглядки. И больше его, не говоря уже о грандиозности созданных им памятных ансамблей, не создал никто ни в советском, ни в мировом искусстве, отразившем эпоху Второй мировой войны. Его героями были те люди, которые делали эту Победу, освобождая нашу страну и народы Европы от фашизма, жертвуя своими жизнями, либо продолжая впоследствии не менее героическую воинскую и трудовую службу Отечеству.

Да вот и внучка Маша, и внук Витя утверждают, что как раз будоражить-то и стоит, поскольку это не только частное, семейное дело, а нечто большее. Скажем так: какие-то фрагменты истории, может быть даже вносящие некоторую ясность в отдельные, искусно запутанные вопросы, которые возникают у тех, кто продолжает интересоваться, что, как и почему происходило в нашей жизни. Есть же те, кому не наплевать еще на свое прошлое. Так что тут имеется своя логика: действительно есть смысл что-то вспомнить и рассказать. Причем так, как обычно рассказывают самым близким и любимым людям. А кто у всех делов могут быть самыми любимыми? Да внуки же. Дети давно взрослые. Но и внук уже вырос, возможно, он слишком серьезен для дедовских баек, хотя не исключаю, что и для него что-то окажется интересным. А с внучкой, юной студенткой, и посмеяться, и погрустить, и посудачить — хорошее, забываемое слово! — в самый раз.

Еще одно соображение, но уже исходящее из моего личного опыта. В прошлом драматический актер — учили этому, во всяком случае, — я помню очень важный прием в общении со зрительным залом. Нельзя говорить со всеми разом, ничего у тебя не получится. Надо выбрать среди зрителей — условно, конечно, — одного человека и максимально заинтересованно разговаривать с ним. Споря и убеждая, и, чем искреннее и проще, тем ему будет интереснее. Или ей, что еще лучше.

Поэтому, я думаю, внук не обидится и уступит в нашем общем разговоре пальму первенства Маше, ибо он уже соприкоснулся с трудовой жизнью, а она — только в самом начале. И начну я, опираясь главным образом на собственную профессиональную память, старые записи, ну и комментарии

тех, с кем был близко знаком, кого хорошо знал, кому верил, в чьей искренности и честности не сомневался, как и сейчас не сомневаюсь. Разные ведь встречались в жизни люди; одни оставили глубокий след, другие запомнились какими-то моментами, которые неожиданным образом высвечивали их характеры и привязанности. Были и те, о ком век бы не вспоминал, но и без них картина была бы неполной. Разговор, вероятно, сам в дальнейшем выведет тот или иной персонаж.

И пожалуй, последнее. Однажды мой друг, ныне покойный поэт Женя Лучковский, обожавший вещать, особенно в застолье, как всякий нетрезвый оракул, изрек: «Ты, Вуч (это меня так звали друзья), слишком умен, чтобы быть дилетантом, но недостаточно серьезен для профессионала». Я посмеялся, а потом, кажется, обиделся. И зря. Все, кто меня знают, охотно подтвердят, что как раз излишней-то серьезностью я никогда не страдал. Что же касается ума... а что такое ум? Наверное, тут у меня сплошные минусы, но что поделаешь. Потому и рассказ не будет, я надеюсь, утомительным, никак не назидательным либо претендующим на истину в последней инстанции, и уж ни в коем случае не «ученым». В каких-то событиях я был участником, чему-то свидетелем, я много слушал, не боялся спрашивать, и мне — я помню — с удовольствием рассказывали то, о чем иной раз и промолчали бы. Но я не буду злоупотреблять чужими тайнами и, главное, не собираюсь навязывать собственных выводов. Это неотъемлемое право читателя и, что особо важно, моей собеседницы. Я хочу, чтоб ей было интересно. Чтоб она окунулась в ту жизнь, в ее своеобразную атмосферу, которая никогда не повторится. Как и сама жизнь...

Вот и все, что мне хотелось бы сказать, предваряя разговор.

А теперь вернусь к «ледяному апрелю», с которого начал. Прошу благосклонного читателя, как выражались в старину, не сердиться, когда я буду, по мере рассказа, отвлекаться на всякие посторонние, казалось бы, мысли или примеры, уж таков мой привычный стиль, — знающий да подтвердит. Ибо я всегда потом возвращаюсь к оборванной многоточием мысли.

Итак, апрель...

Хоронили на Новодевичьем кладбище. Эта часть его тогда называлась «новой». И захоронений было совсем мало, вдоль разделительной стены едва ли помещался один ряд. Могилу вырыли практически напротив ворот, ведущих в старую часть кладбища. И рядом же, на обширной площади, ныне

уже плотно «заселенной» — как годы бегут! — выстроили нечто, напоминающее трибуну, откуда и произносились прощальные речи.

Народу было очень много. Гроб сперва стоял в Центральном доме Советской армии. Почетный караул, ну и все остальное, положенное, как кто-то сказал, не помню кто, «маршалу советского искусства». Потом несли многочисленные венки и подушки с государственными наградами, был оркестр, троекратный салют, торжественный марш роты сопровождения, или как там она называется, мимо свежей «насыпи».

И при этом — лютый холод и солнце, которое просто слепило. Или таково мое личное ощущение.

Но гроб еще стоял у вырытой могилы, окруженный людьми. Произносили речи...

Такая интересная деталь. Умер отец 12 апреля, а некролог во всех центральных газетах разом опубликовали лишь через три дня. Точнее, дали разрешение на его публикацию. Оказывается, в политбюро ЦК КПСС не могли прийти к единому мнению, как написать, кто умер. Гениальный? Замечательный? Выдающийся? Известный? Крупный? Последнее прости — это ж ведь как утверждение табели о рангах. Остановились на «великом». «Великий скульптор нашей советской эпохи», что абсолютно, считаю, справедливо.

Спорный вопрос? А мы там, подальше, и поспорим. У меня есть серьезные доводы, и я не премину их привести.

Речи в тот день произносились, соответствующие моменту и решению политбюро. Говорили много, наверное, хорошо, возвышенно, я не помню. Мысли мои были совсем в другом месте. Есть у Александра Трифоновича Твардовского в поэме «За далью даль» такие мудрые, пронзительные строки:

*Как говорят, отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть борода ползи на грудь.
Еще в виду отцовский разум,
И власть, и опыт многих лет...
Но вот уйдет отец — и разом
Твоей той молодости нет...*

Собственно, об этом и думалось: я понял, что написано в буквальном смысле про меня... И вдруг слышу, слово дают Якову Борисовичу Белопольскому, архитектору, в соавторстве с которым Вучетич создал практически все крупнейшие свои работы — тот же берлинский ансамбль, сталинградский, многие другие памятники. Но заговорил Яков Борисович о памятнике Ватутину в Киеве. Где-нибудь дальше я расскажу и об этой работе, там есть парочка любопытных деталей, но пока — только об одном факте. И о нем я сам узнал именно тогда в главных его подробностях, на кладбище, — из рассказа Белопольского. Позже припомнилось, что у меня был однажды повод подробнее расспросить отца об этом, но... я не придумал тогда серьезного значения шутливой фразе о том, что тяжесть «этого монумента» он испытал на своих плечах. Не буду и цитировать ныне тоже покойного Якова Борисовича, перескажу своими словами.

Это была, видимо, ранняя весна 1947-го, потому что памятник открыли в Киеве в 1948-м. Статуя генерала Ватутина была высечена целиком из огромной, многотонной глыбы широко известного украинского серого гранита. Эту глыбу вырубил в карьере, кажется, на Волини, но доставить ее в Киев было практически невозможно. И тем не менее придумали: сделали для огромного гранитного блока гигантские салазки, уложили на них, закрепили, «запрягли» два или три танка и потянули по весенней распутице. Долго везли, а перед самым Киевом — стоп!

Напоминать о том, что 47-й год в Советском Союзе был невероятно тяжким послевоенным, полагаю, излишне. Центральная и западная территории страны в буквальном смысле только начинали подниматься из руин. Но памятники погибшим героям Родины, как это ни покажется странным сегодня, уже вставали среди пепелищ, на будущих площадях городов.

Я сам был свидетелем того — отец взял меня, мальчишку, с собой, — как на пустой, чуть всхолмленной белой равнине с редкими остовами и развалинами сгоревших, разрушенных домов и неприкаянно торчащих печных труб происходило открытие памятника генералу Ефремову. Его, кстати, отец проектировал также вместе с Яковом Борисовичем. Все происходило в центре города Вязьмы, которого просто не существовало — ни города, ни его центра. Была чудом сохранившаяся изба, которую называли гостиницей «Золотой клоп». А холмики — это были занесенные снегом землянки, из которых черными ручейками вытекали к будущей центральной городской

площади жители... Ослепительный снег, огромная пятифигурная композиция памятника, вознесенного над равниной, оглушительно хриплый военный оркестр, толпа народа, — нечто запредельное, фантастическое. Да, сегодня действительно это может показаться странным, даже нереальным...

Итак, на подъезде к Киеву «караван» остановился. Края глубокого оврага соединял построенный нашими саперами еще во время войны временный мост. В дни наступления на Киев. Строили, разумеется, из подручных материалов — тоже временных. Сколько уж, три года простоял этот мост? Но ведь только русский человек, в смысле гражданин бывшего Советского Союза, знал со всей уверенностью, что у нас в стране временное чаще всего и становилось постоянным. И порой временные сооружения уже изначально, словно по наитию, строились на века. Это хорошо знали те, кто строили, ибо именно они и закладывали в свои строения дополнительные элементы прочности. Но танкисты, тащившие многотонный груз, не знали этого, да и не желали знать. Они категорически отказались ехать дальше. Вплоть до того, что строите новый мост либо прокладываете другой маршрут. И то и другое по неважным теперь причинам было абсолютно невозможно.

И тогда скульптор Вучетич позвал архитектора Белопольского, и они сели считать. И тот и другой в совершенстве владели сопроматом, то есть наукой о прочности и деформируемости элементов сооружений и деталей машин. Короче говоря, сели скульптор с архитектором и пересчитали прочность моста. Просчитали вес танков и саней с гранитом и пришли к твердому выводу, что небольшой запасец вроде бы оставался. Саперы, видно, строили с прикидом на будущее. Доложили танкистам, но те уперлись: рисковать не желаем, а приказать никто не может. И тогда Вучетич пошел на крайний шаг. Он приказал привязать себя к опорному деревянному столбу моста в самом опасном месте и заявил, что берет всю ответственность на себя. Провалятся, так прямо на него. Неожиданный ход, это уже я подумал. Но, оказывается, у старых инженеров-мостостроителей был такой свой, кастовый, что ли, обычай: когда открывали новый мост, его «автор» стоял у главной опоры, пока над ним не проходил первый поезд. Этим он сознательно подчеркивал абсолютную надежность своего сооружения.

Так вот, Яков Борисович был уверен в основательности своих расчетов. Он сказал: почти уверен, поскольку с момента строительства моста — не его тем более — вон уж сколько прошло! Да и строили-то в каких условиях!

Но столь откровенного риска он все-таки испугался. Однако и не рисковать значило откладывать главную работу на неопределенное время и тем самым срывать сроки, утвержденные правительством. Да что правительством? Сталиным лично! Жесткая решительность художника плюс некоторые дополнительные стимуляторы — это ж все-таки Русь-матушка, а Киев издревле считался прародительницей русских городов, не подмажешь — не поедешь! — подействовали, танкисты сели за рычаги, и караван миновал последнее препятствие. А когда под сумасшедшей тяжестью прогибались и скрипели деревянные связки моста, у Якова Борисовича, по его словам, готово было разорваться сердце. Но его, слава богу, миновала тогда эта участь.

Белопольский рассказал об этом, всего лишь одном, незначительном эпизоде в их совместной со скульптором деятельности, и я, помню, подумал: «Как же мало я тебя знал, отец...» И тут же — «воровская» мыслишка: а была ли, в самом деле, нужда так рисковать? Ну и перенесли бы сроки, мало ли подобных случаев? Открыли бы памятник месяцем позже. Что, сгноили бы тебя? Да просто пересмотрели бы дату открытия, как частенько впоследствии, и утвердили бы новую — в связи, к примеру, с форс-мажорными обстоятельствами. На которые так легко все списывается. Ну да, другое время — другие законы и понятия... Нет, видимо, он иначе просто не мог. Не умел. Да и не желал. Он жил в свое время, сам завязывал в узлы собственные жилы и другим не желал прощать слабости и отговорки.

Возможно, именно этот, а не какой-то другой, более благопристойный эпизод отложился в памяти Якова Борисовича потому, что стал и для него своеобразным жизненным экзаменом, накрепко связавшим его с Евгением Викторовичем практически на всю дальнейшую жизнь, несмотря на многие их частные разногласия, непонимания и противоречия и даже ссоры местного значения.

И еще один момент в этой истории показался мне наиболее характерным для скульптора. Если кто-то подумает, что он поседел, стоя под скрипящей, прогибающейся над его головой опорой, сильно ошибется. Когда Вучетича отвязали от того столба, он первым делом обматерил всех за то, что потеряли даром слишком много времени...

А в общем-то, могу прямо сказать, что из обилия прощальных выступлений на кладбище запомнилось только это...

Недавно, в конце лета, мы с внучкой поехали на Новодевичку. Посмо-

треть, насколько разрослась плакучая ива и как под ее огромным шатром скромно затаилась могила Евгения Викторовича Вучетича. Обычный будний день, никаких поминальных дат и событий. Между стоящими на гранитной плите бронзовыми буквами — четыре гладиолуса. Цветочки свеженькие, еще привянуть не успели. Кто-то был здесь недавно. Специально ведь пришел к могиле. Значит, память в чьем-то сердце по-прежнему хранится...

А между прочим, это наверняка та самая плита лабрадора, что когда-то служила нам обыкновенным столом. В смысле была столешницей, стоящей на столбах в саду, во дворе дома-мастерской отца в Тимирязевском районе. Была там в свое время трамвайная остановка «Соломенная сторожка», а переулочек назывался 2-й Астрадамский, теперь он фактически упирается в улицу Вучетича. И вот на этой плите — ей уже для кладбищенских целей придали прямоугольную форму, а тогда у нее были обломанные края — и стояли частенько бутылочки с рюмками, и вокруг рассаживались гости — друзья и товарищи скульптора Вучетича. И там тоже высились плакучие ивы. Их совсем маленькими, всего-то проросшими веточками, привез из Киева отец. Из сада возле мастерской его украинского друга, скульптора Михаила Григорьевича Лысенко. Веточки принялись и выросли. А теперь вот и здесь, у плиты с бронзовыми буквами и цифрами, тоже роскошным шатром поднялась украинская ива. Словно привет с юга, отец ведь в Екатеринославе родился, Днепропетровск нынче (19 мая 2016 года Верховная рада Украины переименовала его в город Днепр. — *Ред.*). Детские годы провел во Владикавказе, а школьные и юность — в Ростове-на-Дону, отчего и считал себя ростовчанином. Ростов же стал началом и, отчасти, финалом его творческой биографии.

А стол и ива — будто переместились сюда из сада в Тимирязевке, как все называли мастерскую Вучетича, расположенную на окраине парка Тимирязевской сельскохозяйственной академии, где еще чуть ли не с петровских времен строили свои дачи профессора той самой академии. Там же, на пустыре, занятом прежде свалкой, и построил Вучетич свою мастерскую.

Удивительное дело, сказанное по поводу застолий с грустной шутовщиной вдруг прямо на наших глазах обрело реальный отзвук. Будто и впрямь сюда, следом за гостеприимным хозяином и само застолье переместилось!

Мы прошли вдоль рядов памятников, и я, указывая на некоторые из них

Маше, вспоминал о том, как, например, вот этот народный артист Советского Союза Алексей Васильевич Жильцов, старейший мхатовский актер, часто приезжал в гости. Мощный, басовитый. Отец очень любил слушать его монологи Пугачева. Особенно когда тот выразительным жестом «пули стряхивал с шубы».

Или вот — Иван Семенович Козловский. Тоже обожал отцовские застолья. И, приезжая, подолгу, многозначительными, артистичными жестами разматывал свой вечный шарф. А потом звучали великолепные русские песни. Аккомпанировала мать Евгения Викторовича. Но однажды, в пику Козловскому, решил спеть хулиганскую песню помощник отца — Владимир Захарович Шейман, мягко говоря, лишенный, не в пример Вучетичу, музыкального голоса, и ему аккомпанировал Иван Семенович. А потом схватился за голову и театрално зарыдал: «Боже, кто поет и кто аккомпанирует!» Какие потрясающие пел он романсы! В последний раз спел у гроба, в Доме Советской армии, любимые Вучетичем «Колоски». Слушать было почти невозможно, настолько все окаменело внутри...

Приезжал частенько к Вучетичу и еще один Жильцов, только генерал-лейтенант авиации, он был начальником Тушинского аэродрома. Увы, не помню имени-отчества. Здоровый, могучий, говорили, любимец Сталина. А почему отец не сделал его портрета, сейчас расскажу.

Этот боевой генерал обожал мотоцикл и гонял на нем как сумасшедший, естественно, попадал в аварии, бился. Рассказывали, как однажды Сталин спросил: «Где Жильцов?» — был Жильцов тогда еще генерал-майором. Ему ответили — в больнице, упал с мотоцикла, ударился, должен скоро выйти. В другой раз спросил — та же история, тогда Сталин вызвал его к себе. «Любишь кататься на мотоцикле?» — «Люблю, товарищ Сталин!» — «Прекрасно. Еще раз услышу, что ты поехал, и станешь майором». Жильцов плакал, но вынужден был купить себе огромный «ЗиС». Или «ЗиЛ», не помню. А когда Хрущев стал увольнять «лишних» военных, Жильцову, уже генерал-лейтенанту и начальнику правительственного, по сути, аэродрома, предложили должность председателя колхоза где-то в Подмосковье.

Позже я слышал, что он был самым лучшим председателем за всю историю этого коллективного хозяйства. Загрузил машину ящиками с водкой и поехал знакомиться с колхозниками. На третий день ему позвонили из райкома партии и напомнили, что бывшему генералу неплохо бы заехать и к ним —

хотя бы представиться для начала. Жильцов помчался, но машина сорвалась с моста и упала в реку. Дело было зимой, и она ушла под лед. Кто-то мне говорил, что его похоронили тоже где-то на Новодевичьем. Почему лучший? А он, говорили, за свой трехдневный срок не успел ничего наруководить, зато так и остался в памяти людей веселым, щедрым и добрым мужиком.

Однажды у нас он маленько перебрал, надулся и, глядя на Козловского, сидевшего напротив, и, вероятно, желая услышать наконец божественный голос, вдруг стукнул кулаком по столу и буквально заорал генеральским басом: «Семен Иванович, рвани, дорогой!» Надо ли объяснять, что творилось за столом? Народ лег...

И почти рядом с Козловским, под каменной плитой, — Никита Владимирович Богословский. От его нескончаемых шуток, от почти истерического смеха постоянно содрогался огромный дом с мастерской.

Неподалеку и Давид Абрамович Драгунский — бравый танкист и генерал. Мы были у него в гостях, когда он еще командовал военным гарнизоном в Закавказье с резиденцией в Ереване. У меня и сейчас, словно перед глазами, по-военному краткий и исчерпывающий план пребывания в Армении, изложенный буквально в трех-четырёх фразах его крупным, генеральским почерком, последняя из которых — как военный приказ: «Посещение Драгунских». Я был редактором его первой книги «Годы в броне». А позже он с женой, кстати Евгенией Викторовной, полной тезкой отца, или просто Женечкой, бывал у нас. И теперь Драгунские уже оба тут — под общим камнем...

А вот — Евгений Ефимович Поповкин, известный в свое время писатель и главный редактор журнала «Москва», он в первый раз Шолохова к отцу привез. Или, правильнее сказать, Шолохов его с собой захватил. Отец же с Михаилом Александровичем был знаком еще с довоенных времен, чуть ли не с начала тридцатых годов. А я в журнале у Евгения Ефимовича опубликовал первые свои стихи — давно было, больше полувека назад...

Да, идешь вот так — и все знакомые имена, знакомые лица в камне. А по ту сторону стены, на старом кладбище, — моя бабушка, Анна Александровна, мать Евгения Викторовича. Она, как я сказал, аккомпанировала Козловскому, ибо окончила музыкальное училище задолго до революции, вернее, еще до рождения своего первенца Женечки, а учителем ее был ни много ни мало сам Александр Борисович Гольденвейзер.

Однажды, помню, прозвучала эта фамилия в застольном разговоре, и

Никита Богословский, ничего не забывавший, в следующий раз вернулся к нему. Он сказал, что внимательно просмотрел все дневниковые записи Софьи Андреевны Толстой, супруги Льва Николаевича, и нашел-таки единственное упоминание об этом замечательном пианисте и прочая, и прочая. Якобы мадам записала следующее: сегодня был, дескать, в гостях Сашенька Гольденвейзер и играл по обыкновению довольно скверно. Можно себе представить дальнейшее веселье! А каково было бабушке, у которой прямо на глазах разрушали ее вечный идеал?.. Ну а Шейману она аккомпанировать просто не могла по той причине, что не знала песни, к примеру, про Мурку. А я знал и мог бы. Но у Ивана Семеновича получалось лучше.

А если смотреть прямо от бабушки, вдоль аллеи, виден мраморный бюст на могиле ее литературного кумира, замечательного знатока русского языка, писателя Гладкова. Отец закончил лепить портрет Федора Васильевича за несколько дней до его смерти.

Здесь же, неподалеку — Александр Михайлович Герасимов, бывший президент Академии художеств, непремный гость застолий, со своей знаменитой трубочкой во рту. Он набивал ее смесью из листьев сушеной малины, вишни, чабреца, цветков донника, и аромат всегда стоял, как в степи перед грозой, когда все растения, особенно недавно скошенные, вдруг вспыхивают в последний раз своими изумительными запахами.

Я не был в Москве, когда его хоронили, но отец рассказывал, что у могилы собралось море народа, и немало тех, кто смертельно ненавидел старика — в годы его президентства, разумеется. За то, что не уступил ни пяди позиций реализма. Зачем пришли? А чтоб убедиться, с горечью сказал отец, что старик больше не встанет...

И где-то здесь же, на аллеях, Федор Иванович Панферов, который больше тридцати лет возглавлял журнал «Октябрь»... Он одно время частенько приезжал в гости вместе с женой, писательницей Коптяевой. Возможно, и Антонина Дмитриевна теперь рядом с ним... Зачем приезжал? Это интересно, но чуть позже.

А вот Василий Иванович Чуйков, тоже частый гость Вучетича, и даже больше чем гость, спит среди своих любимых сталинградцев на Мамаевом кургане в Волгограде, в том месте, на которое сам же указал пальцем: «Вот здесь буду лежать, со своими». Я помню, 17 августа 63-го это было, на кургане, мы шли рядом. Но сказано было это партийным начальникам, которые

разговаривали со скульптором и приотстали. Я не сразу понял, но много позже, когда отмечали очередную круглую дату со дня окончания Сталинградской битвы, подойдя к плите с именем маршала, который иногда, в застолье, называл меня сынком, сообразил, что, вероятно, увидел в тот день Василий Иванович... А почему вспомнилось именно то 17 августа? В тот знаменательный день, как говорится в одном замечательном тосте, была великая охота! Другого такого «утиного сафари» я в своей жизни больше не видывал. Думаю, впереди будет возможность рассказать о нем. И улыбнуться.

Могилы, памятники, знакомые имена на мраморе и граните... А ведь и вправду, многое сюда переместилось. «Застолье» — как видно, тоже. Только атмосфера здесь совершенно непонятная. Ну, толпы туристов — ладно, это в порядке вещей. Вечная тяга к некрополю, в конце концов, объяснима. Пусть и обыкновенным человеческим эгоизмом: «Вон, мол, каков был, а ведь помер, в то время как я, пусть и не таков, зато — живой». Но вот фотографироваться на фоне, мягко говоря, чужих родственников — это, извините, как-то уж...

«Пойдем, дед», — печально говорит Маша, и я ей искренне сочувствую. Мы положили свои цветочки бабушке и отцу и отправились домой.

А в конце декабря прошлого года мы уже с внуком постояли у занесенного снегом камня, расчистили буквы и цифры, положили цветочки... Сто лет исполнилось Евгению Викторовичу в тот день. Для Витюхи — цифра невероятная, а для меня — словно вчера расстались.

На выходе из ворот, при виде торопливого потока любознательных посетителей, мне постоянно приходит одна и та же мысль: вся наша жизнь — одно сплошное, часто бесконечное путешествие, так может быть, начать наш разговор не сначала, не с конца, а с середины путешествия, с наиболее ярких впечатлений. Ну, как вспоминается!

Итак, отправляясь в долгое путешествие, начнем разговор с одной из известнейших его работ, процесс создания которой напоминает детектив. Почти детектив, поскольку убийства, как такового, по сюжету той истории все-таки не произошло, но оно вполне могло быть — это уж по логике вещей. Если не физическое, то моральное — за милую душу. Однако хочу еще немного сказать и о некоторых противоречиях.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАЧАЛО

НЕМНОГО О ПРОТИВОРЕЧИЯХ

Начиная разговор, я хотел с ходу взять быка за рога. Повести нашу беседу вокруг главного лица, без прямого влияния которого мне не мыслится огромная часть творческой жизни скульптора Вучетича. Я имею в виду тот период, что был фактически напрямую связан со временем Сталина, да, впрочем, и с ним самим. А это — внушительный кусок биографии: вся довоенная история, война и еще почти десять послевоенных лет, куда вместились и история создания памятника-ансамбля в берлинском Трептов-парке, и гигантская статуя вождя, со своей отдельной историей, что стояла у входа в Волго-Донской канал, и ряд других известных памятников, и множество бюстов героев, военных, известных людей. И пять, между прочим, Сталинских премий.

Помню, с каким огорчением Вучетич достал эти пять медалей с золотым профилем Сталина на лицевой стороне, чтобы по решению правительства сдать их и получить взамен новые, уже без портрета, но зато с веточкой и названием: «Государственная премия СССР».

Словом, немало было сделано, и то, что сделано, было «отмечено». Но кому-то сталинская тема представляется скандальной и спорной, а другим — бесспорно отрицательной. Для третьих любые малоизвестные или вовсе неизвестные факты могут быть все-таки интересны или, скорее, любопытны — сами по себе. Четвертые уверенно категоричны и просто считают вопрос давно закрытым и потому лишним, ненужным. Я говорю о разных оттенках отношения, понимаешь? А вот молодежь просто не знает, где правда, где вполне пристойный вымысел, а где откровенная ложь, ибо даже

самые великие знатоки той эпохи не могут до сих пор, выражаясь языком минувшей перестройки, «прийти к консенсусу».

То есть тема по-прежнему неоднозначна. Каждый факт в ней может быть истолкован с противоположных точек зрения, где любая спорящая сторона будет считать себя правой. А я не собираюсь открывать Америк или доказывать что-то, заниматься политикой или историческими выкладками и тем более навязывать свое одностороннее мнение. Я хочу выложить только факты, которые мне известны, привести конкретные примеры — из жизни художника, из его творчества, тоже неоднозначного в глазах современников, с тем чтобы вы сами сумели сделать соответствующие выводы. Ну... и с моей, может быть, подсказкой. Но никак не давлением на мозги. И поэтому я подумал, что поговорить-то все равно придется, но позже, потому что начинать со Сталина — значило бы и насторожить, и самой постановкой вопроса вызвать негативное отношение к объекту нашего разговора. Проще поговорить о чем-нибудь завлекательном, благо уж чего-чего, а всяческих интриг в жизни и творчестве Вучетича было предостаточно.

Однажды меня спросили: «А твой отец верил в Бога?» Очевидно, предполагалось так: если ты — коммунист, да еще и уважаешь Сталина, то ни в какого Бога верить не можешь. Это после девяносто первого года посещение церкви стало модным, а бывшие коммунисты первыми подали пример всем остальным — бандитам, будущим олигархам, благородным путанам и прочему неверующему люду — и толпами повалили в храмы.

У одного поэта, которого я знал и очень уважал, есть такие афористические строчки:

*Люблю грозу в конце июня,
Когда идет физкультурпарад
И молча мокнут на трибуне
Правительство и аппарат.*

Николай Глазков многое перевидал и предвидел. Однако даже он не поверил бы в то, что однажды, «освобожденные от тоталитаризма», убежденные коммунисты из «правительства и аппарата» дружно швырнут в урны-плевательницы свои партбилеты и строем отправятся со свечками в

руках в храмы, для того чтобы там, стоя отдельно от прихожан, в своеобразном ВИП-пространстве, публично заявить всем своим покаянным видом о том, какие адские душевные муки они вынуждены были под невыносимым гнетом собственной власти и совести скрывать в своих душах.

Это я к тому, что вопрос мне был задан как раз в то самое, замечательное время всеобщего лукавства. Потому что я знал: тот, кто верил, тот и поступал по-божески, не демонстрируя свечечек, воткнутых в бумажные кольца, уберегавшие пальчики от горячего воска. И вообще, это было дело собственной совести. У меня сложилось убеждение, что не партия, а партийное начальство воевало с нательными крестиками больше, чем с убеждениями, — на последнее, по-моему, мало кто обращал внимание. И не потому также, что якобы все коммунисты поголовно лукавили. Моральный-то кодекс оставался, другое дело, как его исполняли, отвергая, например, смирение. Не должен был коммунист мириться со злом во всем мире. Можно подумать, будто и церковь тоже никогда не воевала.

Ну ладно, не в том суть. Я могу сказать, что скульптор Вучетич «официально» в Бога не верил. Как и в черта. Был убежденным атеистом. Кстати, многие великие люди были атеистами и тем не менее приносили много добра людям. А вот в душе — кто знает, что у человека таится глубоко в душе? Мы с отцом фактически не говорили на эту тему. Да в то время не принято было вообще обсуждать подобные вопросы — на всех уровнях, начиная с самого верхнего. Бабушка, мать отца, креста не носила, я видел, хотя крестная и родилась за тридцать лет до прихода советской власти. Отец просто не мог быть некрещеным. И у меня, это я знаю точно, была крестная мать — отцова сестра, тетя Дина. А крестили меня, вероятно, в Ростове, куда возили совсем маленьким, — боялись, что помру, как мой старший брат Тимур, не проживший и полутора лет. Отец наверняка знал про это крещение, но не возражал. Почему? Не знаю, никогда не спрашивал. Сам он был убежденным комсомольцем и вряд ли должен был приветствовать такое. Значит, он кто, конформист? Как сказать. Мне говорили, что я здорово бодел в детстве и родители просто выбились из сил, вот и обратились... куда надо. И я, что характерно, — выжил. Хотя меня и лечил знаменитый доктор Флакс.

Между прочим, еще в Ростове Вучетич оказался свидетелем одного случая, который мог бы и слегка пошатнуть идеал настоящего коммуниста. Отец рассказывал, как в их город для проведения так называемой пар-

тийной чистки, то есть публичного избавления большевистских рядов от всяких «попутчиков» и прочих «приспособленцев», прибыл представитель Центра, знаменитый в те годы борец с религией и мракобесием, Емельян Михайлович Ярославский (по рождению — Миней Израилевич Губельман, но тогда это не играло роли, ибо большинство руководителей партии и правительства вышли, как прежде говорили, из-за черты оседлости). На одной из таких партчилок среди других комсомольцев присутствовал и молодой Вучетич — охраняли помещение, где происходило партийное собрание ростовских большевиков. Лекции Ярославского в те годы пользовались у населения огромным интересом. И не по принуждению, как сегодня могут соврать с удовольствием, а потому что оратор он был действительно замечательный. Как Луначарский, как Троцкий, как многие в то время. Однако суть не в этом. Во время своего выступления оратор все время наливал из графина, стоявшего перед ним на трибуне, воды в стакан и отпивал. Ну, как Сталин в известной кинохронике. После окончания собрания, когда все разошлись, комсомольцы гурьбой ринулись к трибуне — к графину со стаканом, чтобы налить себе и отпить из стакана «великого Емельяна!» Впечатление оказалось поистине потрясающим: Ярославский отхлебывал чистый спирт! Ну, каково? И это, можно сказать, один из столпов в борьбе с церковью! Отец говорил, что он был действительно потрясен. Но в какую сторону, так и не сознался.

А вот, возвращаясь к теме, еще пример. Работал я в «Советской культуре», было это в начале 61-го, и кто-то мне сказал, что в художественно-реставрационной мастерской имени Игоря Грабаря готовится важное событие. Что делать? Ноги в руки и вперед! Мне повезло, наверное, потому, что я оказался первым, кто с ходу вышел на великого человека — Николая Николаевича Померанцева. Он во всем был велик: в поисках и спасении редчайших икон, в их реставрации, в бесконечных и часто тщетных стараниях рассказать об этих изумительных произведениях церковных художников — иконописцев. Он ходил в северные экспедиции под руководством самого Игоря Эммануиловича, спасал гибнущие шедевры и так далее. Словом, можешь поверить, грандиозная личность. И, ко всему прочему, он был эрудитом и великолепным рассказчиком, ибо досконально знал то, о чем говорил. А событие, собственно, заключалось в следующем.

Померанцев буквально накануне вернулся из экспедиции на Север, в

каргопольские края, где в полуразрушенных и забытых людьми и богом церквях и хозяйственных пристройках отыскивал и собирал почерневшие доски, в которых без труда опытный глаз реставратора узнавал старинные иконы. Их забрасывали на чердаки домов, куда кидают всякий хлам, ими заколачивали отверстия в стенах и полах, даже в храмах, превращенных в картофельные склады, приспособливали для соления грибов и капусты под гнетом и так далее.

Николай Николаевич открыл одну из них — частично, в походных условиях — и ахнул! Это были настоящие шедевры — из тех, что Грабарь в своей «Истории русского искусства», созданной под его руководством еще до революции, назвал «Северными письмами». находка была поистине уникальной. Но самое странное для меня заключалось в том, что Померанцев, с восторгом повествуя о находках и показывая мне первые образцы, ахал от восторга, заражая им и меня, а закончил с некоторым скепсисом. Ну вот, мол, рассказал, показал, порадовался и... будет. Что-то в этом духе. Он, конечно же, знал много, а я — практически ничего. Но я работал в «Советской культуре», министром культуры СССР была Фурцева — интеллигентная, умная женщина, которая нередко приезжала к нам. Какие могут быть сомнения? Тема — чрезвычайно интересная, новая, со времен Грабаря о ней фактически никто не писал, поэтому можно считать ее даже и своеобразным открытием.

И я сел писать. Ну, изучать вопрос, звонить Николаю Николаевичу, уточнять что-то. Отец спросил, чем я так серьезно занят. Ответил. Он как-то странно посмотрел на меня, на черно-белые фотографии икон, переданные мне Померанцевым, усмехнулся и резюмировал: «Да?» И все.

Но когда возникали у меня вопросы, касавшиеся живописи, как таковой, каких-то там художественных приемов, техники и технологии и прочего, в чем я, мягко говоря, не был силен, я обращался к отцу, и он каждый раз подробно и серьезно разъяснял мне то, чего я не понимал. А когда статья была закончена, отец прочитал ее, похмыкал, как он это умел, — мол, неоднозначное к ней отношение, но больше — положительное (не в смысле — положил, — кстати, из его любимых выражений), и, словно раздумывая, посоветовал. «Ты, — сказал, — не забудь вставить и мысль о том, что русское искусство того времени было зажато в рамки евангельских сюжетов, но жизнь часто оказывала на живописца — читай, иконописца — ре-

шающее влияние. Поэтому для нас древние иконы — не только собрание отвлеченных религиозных историй, но и книга абсолютно реальных мыслей и чувств, которые обуревали их создателей». Я и вписал такой пассаж, посчитав его умным и уместным, — на фоне рассуждений об иконах вообще. И добавил еще сюжетной остроты — для большего интереса у читателя и красоты «штиля» — кое-что из увлекательных, почти детективных фактов о самой экспедиции. Словом, материал лег на стол главного редактора Дмитрия Большова. И «залег». Я уже думал — навсегда. Министерство ни за что не желало давать визу на публикацию. Само собой, и цензура: церковь, икона, еще и варварское обращение с якобы выдающимися художественными ценностями! Да где это вы видели? Отец интересовался время от времени, ухмылялся, но молчал. Потом, я знаю, наш «главный» был в министерстве, что-то обсуждал. У отца тоже нашлись какие-то дела к Фурцевой. Уж к министерству-то у него всегда были дела, и главным образом нелегкие...

И вот однажды, уже в начале следующего года, разворачиваю я «Советскую культуру», а там, на четвертой полосе, занимая почти всю ее, напечатаны «Северные письма», да еще с двумя большими фотографиями «открытых» икон! Небывалый случай.

Вернувшийся из академии отец улыбался и, как бы между прочим, заметил, что днем разговаривал с Павлом Дмитриевичем Кориным, и тот спросил, кто этот Вучетич, что написал в газете? Я представляю гордость отца, когда он скромно ответил: «Мой сын». Его поздравляли и тот же Корин, и другие «патриархи», а Константин Федорович Юон пригласил Вучетича как-нибудь приехать в гости к нему, вместе с сыном. «Очень важная статья», — сказал он, и повторил это при нашей встрече уже дома у него, кажется в высотке на Лермонтовской площади. У меня от собственной славы голова шла кругом.

Должен сказать, что среди моих любимых картин, ради которых следовало ездить в Третьяковку каждую свободную минуту, была и картина Константина Федоровича «Купола и ласточки». Отец, узнав о моем отношении к ней, неопределенно пожал плечами и сказал, что полотно действительно хорошее, но без особого пиетета сказал. А я был просто в восторге от картины и даже стихи сочинил — пейзажная такая зарисовка: «Купола в огне вечернем...» и так далее. Отец сказал, чтобы я обязательно прочитал их Юону. И художник выслушал, может быть, даже с преувеличенным внима-

нием — прежнее образование и несколько иная культура! — и отпустил милостивую улыбку.

Юон, кстати, посчитал эту статью серьезным прорывом через существовавшие тогда барьеры. И если уж такая, насквозь атеистическая газета, как «Советская культура», решилась на подобную публикацию, значит, дело сдвинулось наконец с мертвой точки. Возможно, сейчас имена этих художников мало что говорят, но в мое время и лично для меня и для моих коллег они были поистине богами в искусстве.

Но могла быть и еще одна причина. Начало 60-х — это же «оттепель»! Которая, к сожалению, очень быстро закончилась. И знаешь, чем? Разрушением церквей, причем не менее неистовым, нежели прежде, в первые годы после революции.

Потом я понял, когда разговаривал с редактором о причинах длительной задержки, что в Министерстве культуры, в соответствующем отделе и выше, никак не могли прийти к единому мнению: икона — это что, искусство? Или «поповские штучки»? «Так вот же, — доказывали и Большой, и, очевидно, в какой-то ситуации и скульптор Вучетич, — автор прямо заявляет... — И цитировали: — «...книга абсолютно реальных мыслей и чувств их создателей, современников величайших исторических событий...»

Долго я принимал «поклонения», а отец усмехался, и я понял много позже, что ему было чрезвычайно важно, чтобы сын ощутил вкус настоящей победы. А что речь о церкви, об иконе — что ж, ничего в этом зазорного нет. «Перекуем...» — чай, не с неба на него упало-то... И, будь он закомплексованным атеистом, разве стал бы тоже помогать пробивать такую статью? Он ведь был непримиримым бойцом только с тем, что противоречило его убеждениям.

Хотя, с другой стороны, когда мы с отцом ездили на похороны очень известных, пожилых и, значит, верующих людей, таких как Бабенчиков, например, а их, как правило, в церквях отпевали, Вучетич все-таки в храм не заходил. Но землю на крышку гроба кидал. И от священника не отворачивался.

Я помню, как власти устроили жуткий скандал с похоронами Анны Андреевны Ахматовой. Именно из-за отпевания. А, с другой стороны, когда умер Паустовский, мы, несколько журналистов, набравшись, естественно, храбрости, отправились в церковь Преподобного Пимена, рядом с изда-

тельством «Молодая гвардия», и спросили у церковного служителя, сколько стоит заказать панихиду по Константину Георгиевичу, уж очень мы его все любили, а я даже дома у него был однажды, готовили к печати отрывки из его «утраченного и вновь обретенного» романа. И тот служитель ответил, что самим патриархом дано указание отслужить панихиды по нему во всех церквях в стране, что нас очень удивило. Это казалось просто невероятным. А принесенные деньги нам было предложено пожертвовать храму. Мы, конечно, тут же и пожертвовали, но не все, а на оставшуюся часть все-таки предпочли устроить поминки по истинному классику, ушедшему от нас. В знаменитой «Шашлычной» на Краснопролетарской улице.

Или вот еще ситуация. Правда, не связанная напрямую с религией. Однажды, еще в пятидесятых, увидев в моих руках томик Есенина, отец взял его, раскрыл, прочитал что-то, вздохнул и, закрыв, отдал. А потом, дернув головой в тике, сказал, и не то чтобы с сожалением, но явно без радости: «А я одного парня выгнал из комсомола. У него под подушкой нашли сборник Есенина». Я не понял: «За что?!» Он неопределенно пожал плечами, будто хотел сказать, что вынужден был, от него не зависело. А потом — то у Есенина про хулиганство, то про Бога, — какой же ты после этого комсомолец, если читаешь практически запрещенную литературу? Однако немного позже Вучетич принял самое активное участие в конкурсе на проект памятника Сергею Есенину. Отец, кстати, очень любил, когда я ему читал стихи этого поэта, поскольку очень многое из Есенина знал наизусть. А как он критиковал меня за неверное, с его точки зрения, понимание сути «Черного человека»? Вот это был разбор!

И проект памятника он сделал, по-моему, прекрасный. Представляешь, на пьедестале стоит поэт в плаще, со шляпой в руке и тростью, на которую тяжело опирается, держа ее перед собой. А ветер, дующий ему в спину, взвихривает плащ, но... поэт стоит, будто упорно не хочет подчиняться ветру.

Однажды, еще учась на первом курсе, я сидел в Ленинке и в паузе между чтением материалов по истории театра взял самое раннее издание Есенина, которое выдавали в общем зале, — 46-го года. И увидел на одной из страниц развернувшуюся дискуссию. Карандашами были сделаны записи. Известные стихи о собаке. Один правит Есенина: «Покатались СЛЕЗЫ собачьи золотыми звездами в снег». Второй ниже отвечает: «ГЛАЗА покатались! Дурак! Только ГЛАЗА!» Я рассказал отцу. Тот как-то снисходительно улынулся и

вдруг сказал: «А я однажды видел Есенина». Это было на каком-то пароходе. На Дону? На Волге? Он не сказал. Поэт стоял на палубе и читал стихи, а вокруг толпились восторженные слушатели. В руках его была зажата трость, которую он раскачивал из стороны в сторону, опираясь ею на палубу, и несколько женщин, на коленях, ловили его руки и целовали.

Так вот, может быть, откуда и возник этот образ! И ветер реки вполне мог ассоциироваться в глазах убежденного комсомольца с ветром Времени, с ветром Революции, которой сопротивлялся Есенин?

Я уже не помню теперь, что стало с проектом. Возможно, поставили памятник где-нибудь в Рязани. А может, он так и остался несостоявшимся проектом. Как и проект памятника Маяковскому... Но об этом тоже — позже.

А теперь есть повод припомнить тот случай «у Пушкина». Мне рассказывали об этом два человека, и оба — участники события. Один — отец, а второй — Анатолий Анатольевич Громов, я его упоминал в начале, посол ООН на Цейлоне, удостоенный за свою дипломатическую деятельность одной из высших «общественных» наград: в его честь были выпущены сигары, которые назывались «Анатолий Громов». Говорят, выше чести нет! Я сам видел и даже одну выкурил. Сигара как сигара. Париж как Париж...

Отправились они как-то зимой вдвоем путешествовать: в Святые Горы, к Пушкину. Что у них было с транспортом, не знаю, наверное, Громов, недавно вернувшийся из-за границы, сам сидел за рулем. От могилы Пушкина они отправились побродить по монастырю — оба там ни разу не были. И ну надо же случиться, что первым священником, которого встретил там Вучетич, оказался бывший художник из студии имени Грекова, которого скульптор прекрасно знал. Но тот вдруг исчез однажды, что называется, с концами, а куда, Вучетич как-то не удосужился выяснить. Был тот во время войны боевым офицером, кажется летчиком, членом партии, имел фронтовые награды. И вот он — в рясе. Узнали друг друга. Вучетич был поражен: как же это могло случиться?! В чем причина? Объяснения священника по поводу того, что вот, мол, так жизнь сложилась, когда-то дал себе зарок и теперь пришлось время держать слово, никак не подействовали на Евгения Викторовича. Они с Громовым были уже немного под градусом — к тому, говорил Толя, их подвигло посещение пушкинской могилы, одновременно поразившей их своей простотой и величием. А Пушкин, как тебе должно быть ведомо, в отношении «отдельных» служителей церкви был большим

«шутником». И цитировать известные перлы про попа и его работника Балду или про архимандрита Фотия, не говоря о более «глубоких» познаниях двадцатилетнего еще поэта в религиозной тематике, в нашей молодости было сплошным удовольствием. Как, впрочем, не у одного поколения читателей знаменитой его «Гаврилиады», кажется осужденной церковью. Но по-моему, не очень и осудили-то. Талант, как говорил тот же Женька Лучковский, он везде талант, что в любви, что в половой жизни.

Короче говоря, мирно начавшаяся встреча переросла в полное непонимание позиций. А дальше — возмущение, ссора и, наконец, заявление Вучетича о том, что он с этой минуты знать не желает отступника — от искусства, вероятнее всего, а может, и от каких-то внутренних велений совести коммуниста. Священник продолжал упрямо твердить свое. Короче, разрыв отношений. Возмущенные «предательством» талантливого художника по отношению к искусству, Вучетич с Громовым покинули монастырь и направились... куда? Наверное, туда, где был припаркован их автомобиль. Видимо, не близко, потому что они шли долго, а дорога была скользкая, и приходилось постоянно поддерживать друг друга. Но не прошли и нескольких сотен шагов, как их догнали двое высоких молодых людей в черном. Монахи, поняли они. Один попросил Евгения Викторовича немного остыть и выслушать просьбу батюшки. Остыть он, конечно, не остыл, но выслушал просьбу священника вернуться, ибо уже стало вечереть. Вучетич категорически отказался. Громов солидарно поддержал «обиду». Тогда монахи предупредили, что батюшка в случае отказа — а это он мог предвидеть — велел им, братьям, доставить гостей силком. Да хоть бы и на руках. Вот тут вспыхнуло возмущение! Но, оглядев обоих молодцов, Вучетич с Громовым пришли к ясному логическому выводу, что им с монахами не совладать: ведь действительно доставят. И непременно на руках. Пришлось согласиться с предложением батюшки и вернуться. А там и заночевать.

Потом, говорил отец, уже в застолье, потекла у них доверительная беседа — о войне, о жизни и долге, об искусстве, — и пришло взаимное понимание, а оно и не могло не прийти, потому что ведь относительно недавно делали одно общее дело — и ранения, и награды, и смерти вокруг были общими. Расставались, как когда-то прежде в студии, обнявшись: «Ну, пока, до встречи...»

Громов, когда сам рассказывал нам с поэтом Мишей Вершининым, по-

стоянно бывавшим у нас в доме, про эту поездку, примерно то же самое, что и отец мне, закончил, мечтательно улыбаясь: «Ах, как здорово мы потом, уже в полной темноте, с горки катались! Там к оврагу крутой спуск для детских санок, так мы — на корытах, как мальчишки! И батюшка — первым! А если кто и видал эту картинку, так у него наверняка глаза на лоб вылезли!»

А про Мишу Вершинина, который еще не раз встретится в наших разговорах, к сожалению тоже давно покойного, но он пережил Вучетича, я могу сказать следующее. Этот был веселый, шумный и очень плодовитый поэт, умевший дружить со всеми (по-моему, даже без исключения). Он — фронтовик, прошел в качестве военного корреспондента всю войну, с первых ее дней до Праги, имел ровно тридцать три — я сам считал — правительственные награды, в том числе несколько иностранных. Был известен тем, что принял молодого румынского короля Михая в комсомол, а войдя в Прагу в мае 45-го, нашел сотрудников типографии, привел их на работу и под дулом автомата приказал набрать и издать сборник своих стихов, написанных за годы войны. Это он так, вероятно, мстил врагам. У меня была эта, шикарно изданная, «толстая» книжка в твердом, матерчатом переплете с размашистым автографом на целую страницу. Потом Миша взял его, чтобы вставить те стихи в свой новый сборник, а потом... Потом мне уже было не до стихов. А еще он написал знаменитую в свое время песню «Москва — Пекин»: «Русский с китайцем — братья навек, крепнет единство народов и рас... Сталин и Мао слушают нас!» Слава поэта была повсеместной, особенно в Китае. Вучетич особо благоволил ему — до самых последних минут жизни, поэтому информации, как ты понимаешь, мне хватало... И еще: Миша знал ВСЕ. Можно было — так шутили — позвонить ему среди ночи, разбудить и спросить номер телефона, к примеру, двоюродной сестры любовника Гали Брежневой, и Миша сонным голосом продикует.

Но вернемся на ту горку... А ведь они — как мальчишки! Что может быть понятнее? Я вот думаю, что эта маленькая история может и не иметь ни малейшего отношения к той теме, которую мы с тобой затронули в разговоре, но чем-то от нее веет очень хорошим. Потому что человек должен всегда оставаться человеком, а уж хороший — тем более...

Так что я не знаю, насколько силен был в Вучетиче его атеизм. Зато он верил, причем убежденно, как теперь это ни покажется странным, каждому очередному вождю, надеясь, что наконец хоть при нем наступит порядок.

Глубоко разочаровываясь в одном, упрямо продолжал верить следующему, и снова разочарование. Но абсолютно верил в собственные силы и свои способности. Верил, извини за некоторую грубость, в свою... задницу. Вот — из типичных его фраз: «Возьми Кольку (это он про скульптора Томского, с которым был в дружеских отношениях), очень талантливый художник, а сделает немного. Знаешь, почему? У него ж... нет, а у меня она есть!»

Не терпел выражений «не могу» и «трудно». Ответ был категоричен: «Сделаешь раз со сто, будет просто». Или: «Повесь у себя перед носом крупно написанное слово МАСШТАБ и смотри каждое утро, когда просыпаешься». Рецепты для жизни. Сам так жил и от других требовал. Но ты и представить себе не можешь, насколько это было трудно.

Однажды в доме, не помню по какому поводу, собралось много гостей. Было уже поздно, стали разъезжаться, а человек пять-шесть осталось: видно было, что у них в головах вполне отчетливо созрела одна мысль: что-то недоделано. И поэтому вечер надо завершить грамотно. Ну, какой разговор? Отец говорит: «А поехали в Архангельское, соловьев послушаем?»

К слову, напротив нашего дома была старая деревянная дача, в которой жила старейшая тогда уже скульпторша Кун, кажется, ее звали Юлией. А ее сын, Юлий Кун, стал известным кинорежиссером. Однажды она зашла к отцу в мастерскую. Невероятная красавица в молодости, как говорил отец, она и в возрасте сохранила свою прежнюю статью. Он потом сказал мне: «Ты не поверишь, я совершенно обалдел. Пришла просить, чтобы я вылепил голову ее сына. Я ей говорю: «Но ведь вы же сами — признанная художница, скульптор! Как же так?» — а она отвечает: «Если сделаете вы, будет то, что надо».

Юлий позже заходил, позировал отцу. А мы с ним вели всякие разговоры — о кино, о жизни. Молодые были, счастливые...

Так вот, в их дворе, где был маленький прудик, со всех сторон заросший одуряюще пахнувшей персидской сиренью, все весенние ночи напролет пели соловьи. Да как! С ума сойти!

Но «свои» соловьи — оказались не те. Я вызвал два или три такси, и отправились. Вина с собой прихватили — сухого, красного, грузинского. Приехали, послушали, немного выпили, просто для порядка, и отправились по домам, шоферы всех развезли. Приехали и мы с отцом. А у меня утром

в институте что-то важное было, то ли зачет, то ли консультация. В общем, вставать рано, ехать к восьми.

Я пошел спать, отец сказал, что тоже, так как за обедом-ужином было съедено и выпито более чем достаточно, и он был под хорошим хмельком. Ощущение было, что едва я заснул, как меня разбудили. Легли где-то в четвертом часу, а теперь было половина шестого. И стук был совершенно реальный. Я вышел на антресольку — была там такая, тянулась вдоль стен мастерской, — глянул вниз и увидел отца. В обычной своей светлой блузе с большими карманами — толстовке, говорил он, — стоял и работал с мраморной головой какого-то бюста, не помню, чей это был портрет. Аккуратненько стуча специальным молотком по резцу-тройнке. Это называлось: открывать глаза. Он предпочитал «открывать глаза» портрету, зрачки, так сказать, сам. На мой вопрос ответил: «А я уже выспался, чего зря лежать? Надо работать. Смотри, сынок, не проспай жизнь». Шутка, но как он был прав, а чувствуешь это только теперь...

Конечно, кому понравится такой стиль жизни? Вот и считали, что характер у него совершенно невозможный. Но — тянулись к нему, значит, были все-таки причины? Были, скажу тебе, были...

Однажды Поскребышев, помощник у Сталина, сказал Вучетичу: «Ах, Евгений Викторович, знали б вы, какая над вами звездочка светит!» В тот вечер, накануне дня подписания капитуляции Германии, скульптор по личному указанию Сталина улетал в Берлин, чтобы лепить с натуры портрет маршала Жукова. Он, конечно, понимал, о какой «звездочке» речь, как и то, что это вовсе не материальная категория, и смотрел гораздо шире. Почему? Может, отец видел жизнь в ином масштабе? Или, наоборот, не шире, а дальше? Как сказал ему однажды известнейший ученый, академик Алексей Дмитриевич Сперанский, которого Вучетич считал отчасти и своим учителем в жизни: «Лошадь, взятая в шоры, видит, разумеется, уже, но при этом значительно дальше!» Отец потом часто повторял эту фразу, объясняя некоторые свои взгляды в творчестве.

Другим и, пожалуй, главным его учителем был тоже академик, известнейший архитектор Владимир Алексеевич Щуко. Я помню этого высокого старика — чопорного, красиво грацирующего и не выговаривающего буквы «ж» и «в», — сидел рядом с ним на скамейке, на даче в Малаховке. Это когда к нему в гости Сталин приезжал.

У Владимира Алексеевича был еще в начале тридцатых годов с Вучетичем, совсем молодым тогда скульптором, такой разговор — в Ростове-на-Дону, на строительстве будущего театра имени Горького: «Шенечка, скажите, кого бы вы себе выбрали в качестве отдаленного идеала, к которому всю жизнь будете стремиться?» — «Веру Мухину», — не задумываясь, ответил Вучетич. «Феру? — удивился тот. — Знаете, Шенечка, я бы вам посоветовал не выбирать Мухину. Может случиться, что вы ее догоните. И перегоните. И что впереди? Пропасть? Фозьмите Микеланджело, уш его-то вы никогда не догоните».

Вот я и думаю, что отцу было куда глядеть. И кого видеть в перспективе...

Итак, подведем частичный итог: Вучетич никогда не был «зловредным» атеистом, не был и истово верующим, зато, по-моему, твердо знал, что ответ все равно держать — там! — придется.

Мы говорили об этом с Борисом Леонидовичем, бывшим рядом с Евгением Викторовичем в его последние месяцы, и он многозначительно покачал головой по поводу моей фразы насчет «ответа». Отец изменился к концу жизни, уходили жесткость, непримиримость, наверняка задумывался о вечности. И потому выкладывал все, отпущенное ему природой, судьбой, Богом, ничего не оставляя себе и даже мысленно не оговаривая условий...

Планы он имел грандиозные, причем совершенно реальные. А вот время, отпущенное ему, катастрофически сокращалось. Ибо у него оно уходило на «согласование» — то есть ежедневное, ежечасное, выматывающее душу доказывание всем, начиная с правительства и кончая последним водопроводчиком, что ты — не верблюд и не себе строишь памятники, а им. Что ты предложил, показал, доказал, а вы все приняли с восторгом, расписались и печати поставили, но, когда началась работа, вы же сами стали тормозить, чтобы обсудить снова, и опять всем вместе дружно согласиться, а потом еще раз остановиться и подумать... и так далее, до бесконечности. Во всех вопросах, по любым направлениям. Конечно, станешь молиться на того, кто решает один раз и окончательно. А есть ли такой вообще? Был. И каждый новый руководитель государства, приходя к власти, тоже начинал с утверждения, что только так и будет всегда, в дальнейшем, чтобы чуть позже, кокетливо смущаясь, намекнуть с глазу на глаз: я-то готов, Евгений Викторович, но, понимаешь, обстоятельства... Я ж — не один...

И тем не менее Вучетич побеждал. Строил. Открывал. Принимал

заслуженные почести. А потом валился с очередным инфарктом. Поэтому я теперь думаю, оценивая прошлое, что Вучетичу, в принципе и по большому счету, никакая власть была не нужна. Власть — это ведь значит, делай, что я прикажу. А он хотел делать сам и отвечать — тоже сам. Нагло, наверное, будет так сказать: отвечать перед своей совестью. Ну и перед народом, ибо художник, по его твердому убеждению, обязан творить не ради удовлетворения собственного тщеславия, а для зрителя, для другого человека, для народа. Скажи такое сейчас — засмеют!

Вот из его типичных «вызовов». Реалистическое искусство никогда не стремилось занять чужое место, ему своего хватало — и своих почитателей, и своих певцов. А формализм и прочие «измы» всегда стремились занять не свое место. Их не принимали, отвергали, а они: не желаете, так мы вас заставим! Воинствующим был именно формализм, как взгляд на жизнь, на искусство, ничего общего не имеющий с мировоззрением народа. Да, будут повторять: искусство — удел избранных! Было, и не раз, проходили... Конечно, надо поднимать людей, но только не до уровня балагана...

Вот так, понимаешь ли. Как же его терпеть не могли за такую позицию! Как ненавидели за то, что он всегда отстаивал ее, не стесняясь называть ярых врагов реализма попросту — убогими...

Еще говорят: шикарно жил. Увы, готов разочаровать. Если Вучетич чего-то добивался, в частности и того, что сегодня называют «жизненными благами», то лишь ради одного — возможности свободно творить.

Да и благ-то этих, если по правде, особых не было. Просто объемы работ всегда оставались гигантскими, и они, разумеется, требовали крупных вложений средств. Ездил он на «Победу», лично оплачивая шоферу Шурунчику Ягудину его постоянный труд, потому что врачи категорически запретили отцу самому водить машину. Даже дом Шурику небольшой построил возле особняка — причем со всеми удобствами. А так называемый особняк в Тимирязевке занимала главным образом мастерская, размером двадцать в длину на двенадцать метров в высоту, которую он хотел когда-нибудь превратить в музей бесчисленных портретов своих великих современников и моделей памятников — им же, Героям. Жилая же часть там была так себе, четыре небольшие комнатки наверху, а внизу все основное помещение предназначалось исключительно для приема гостей — кабинет, гостиная с большой библиотекой и столовая.

Нет, была у него, помню, еще одна задумка, к счастью не исполненная, благодаря... мне. Я еще тогда в театральном учился. Отец сказал однажды: вот помру, а ты потом в этой мастерской театр свой построишь. А что? Есть огромный поворотный круг — для сцены, рядов двадцать стульев поставишь — для зрителей, в кабинете и столовой — в пристройках по бокам дома — примерные. Так он пофантазировал, потом посмотрел на меня с сомнением, покачал головой и сплюнул: «Нет, ни черта у тебя не получится! Вы — слабое поколение».

Надо было понимать: не бойцы. Тут он не прав, в драки я постоянно ввязывался, и даже иногда побеждал, но, правда, толку от этих побед было немного. А мастерскую я бы на своих плечах никогда б и не вытянул, ее содержание Вучетичу стоило бешеных денег, куда уж мне-то тягаться!

Между прочим, это кажущееся огромным сооружение долгое время было подключено ни к городской канализации, ни к отоплению. В подвале стоял котел, и был истопник. Но ночью он спал дома, и случалось, что уголь в топку приходилось подбрасывать мужчинам, то есть отцу да нам с Володькой. Так что насчет полных удобств... это спорно.

Вот такая она была, жизнь-то! Что ж, может, и не будем, не мудрствуя лукаво, выстраивать стройную и последовательную биографию художника, помня, что в размерности всегда таится некая тоска, а начнем вспоминать кусками жизни? Вот о чем вспомнится, про то и поговорим. В конце концов, я же хочу рассказать об ИНТЕРЕСНОЙ жизни художника. А биография, — она выстроится сама, если читатель того захочет. Собственно, канва ее известна и проста: родился, учился, работал, воевал, снова работал до бесконечности и... умер. Как сказал однажды мой Лучковский, «жизнь человека в конечном счете, Вуч, это та черточка, которая разделяет на могильном камне две даты». Ужасно, конечно, понимать это, и никто не желает, чтобы так оно было, но, увы, это, к сожалению, именно так. А черточка — в сущности, и есть та самая память, которую человек оставляет о себе.

Однако не будем о грустном. Давай-ка лучше я расскажу о том, как тяжело позировать и какие интересные вещи открываются при этом...



Где-то в конце пятидесятых отец вдруг решил лепить мою голову, правильнее сказать, портрет.

Тут одна деталь важна. Он требовал от своих натурщиков, иначе говоря, портретируемых — такое вот дурацкое слово, чтобы они с ним разговаривали, даже пели, не важно, что и как, главное, не молчали. Меня он заставлял играть ему на гитаре и петь романс Епиходова — из «Вишневого сада»: «Что мне до шумного све-е-ета-а-а?.. — козлиным голосом, как на учебной сцене. — Что мне друзья и враги? Было бы сердце согрето жаром безумной любви-е-е-е...» — старательно и глупо копируя интонации Ивана Михайловича Москвина. Хоть и ГИТИС, а работали «Вишневый сад» сугубо в мхатовской манере, по Станиславскому и Немировичу, и никак иначе! Учил нас известный мхатовец, народный артист СССР Василий Александрович Орлов.

Понятно, зачем это было нужно отцу: он ведь изучал «живое» лицо будущего артиста, а не позирующую маску, — так я полагал о себе. Но почему-то скульптор долго занимался поиском, как ни странно, прически. Видимо, сознательно отвлекался от моего... богатого внутреннего мира. И у него не получалось. Я ж вижу: лицо мое, похожее, а он чего-то тянет, что-то ему не нравится. И ведь кончилось тем, что так и отложил работу. Ну а я тем временем окончил свой институт и уехал в Ростов, «служить Мельпомене». На театр! Кем? Ну как же, а «прыщом» на теле этой капризной дамы! Мы еще и не так о себе выражались, причем без всякого зазрения совести. Молодые, чертовски обаятельные, поголовно талантливые и еще ничуть не разочарованные в себе, представляешь? Через год прилетел в отпуск. Отец — сразу: «Давай работать!» Раз-два, отрезал у портрета нижнюю челюсть, сдвинул вбок, заделал, что-то опять добавил, где-то убавил, убрал к чертям завитки волос, шлепнул ладонью по влажной глине. Сплюнул вбок и сказал: «Все!»

Владимир Захарович Шейман, его помощник и самый близкий тогда человек в доме — мы его звали Директором, — походя ткнул пальцем в глиняную физиономию, покачал головой: «Тут умнее». Отец усмехнулся: «На вырост», — и подмигнул ему. И я только потом, кажется, понял, чего он ждал целый год...

Хочу сделать небольшое отступление. Рассказывая о скульпторе Вучети-че, я, видимо, не должен упускать хотя бы краткие характеристики наиболее близких к нему людей. Короля ведь делает свита, давно известно. Владимир Захарович был одним из «ближних». И вместе с отцом он «пахал», по-мое-

му, больше двух десятков лет — самых активных и творчески плодотворных. Когда отец работал у себя в мастерской, они фактически были рядом, даже отдыхать ездили вместе, — компании, то, сё... Отец занимался скульптурой, ну и отворял при необходимости рукой, а в отдельных случаях даже и ногой некоторые двери «больших» кабинетов. Директор же организовывал финансовый, производственный и прочие процессы в этой разносторонней творческой деятельности целой фабрики, которая называлась «скульптор Вучетич», осуществлял, как сейчас говорят, общественные связи и так далее. Словом, исполнял отчасти работу нынешнего продюсера.

Причем тут надо иметь в виду и следующее обстоятельство.

Скажем, будь Вучетич живописцем — кем он, в сущности, и являлся по диплому, выданному ему в ростовской художественной школе, — все его творческое хозяйство состояло бы из этюдника, мольберта, красок, кистей, растворителя и тряпки, чтоб мыть и вытирать руки. Ну и нескольких холстов на подрамниках. А у скульптора, да еще монументалиста, художественно-производственный процесс протекает, как на хорошем заводе, где нужны плотники, сварщики, электрики, монтажники, слесари, мраморщики-гранильщики и др., не говоря уже о помощниках, либо, бери выше, — соавторах. И всем этим хозяйством, по существу, ведал Директор. Теперь понимаешь, почему его все так звали? Даже в Академии художеств, на Кропоткинской (ныне — Пречистенке), где Вучетич был вице-президентом по отделению скульптуры, когда Шейман появлялся, все говорили: «О, Директор пришел!»

Тебе интересно, откуда у него были такие способности? Разбирался ли он в искусстве и был ли сам художником? Ты знаешь, никогда художником не был, даже критиком, что, конечно, куда как проще, но... разбирался-таки. А иначе как бы они работали вместе?

Во время войны он служил в особом отделе армии. Этот отдел еще Смершем именовали, от слов «смерть шпионам». Врагов ловил — немецких шпионов, наших дезертиров, предателей... Но, сколько я помню, Владимир Захарович не любил возвращаться в то время. Только однажды, когда наши отношения были совсем уж доверительными, я спросил: «Не снятся?» Он понял, конечно, «предмет» вопроса, помолчал и ответил: «Ты знаешь, стали иногда приходиться...» Очень грустно сказал. Но — без видимого раскаяния. Он не был ханжой или сукиным сыном и считал, что на войне делал правое

дело. А в июньские дни 41-го он занимался в Киеве эвакуацией творческой и прочей интеллигенции. Вывезти успел писателей, художников, артистов, кинематографистов, ученых. Но до конца, фактически до самой смерти, не мог себе простить — вот тут чистое раскаяние! — что не успел, просто не успел вывезти киевское «Динамо». Далекими оказались от Киева. И любое упоминание о трагическом футбольном матче между киевским «Динамо» и немецкими футболистами, закончившемся победой киевлян, которых затем фашисты расстреляли, было для него буквально острым ножом в сердце.

У него была жена, которая рано умерла, дочка Лора и большое количество родни, проживавшей в Москве, в Колобовском переулке.

К характеристике Лорочки — только один крохотный факт. Она в чем-то провинилась, и Владимир Захарович, как большой педагог, задал дочке «серьезный вопрос»: что она предпочитает получить в наказание: ремень или — угол? Лорочка ответила: «Мороженого». «Педагог» был в восторге. Дочери тоже было в кого расти.

Еще маленький эпизод. У Лорочки был день рождения. Бабушка моя призвала меня к себе и сказала, что хочет сделать девочке подарок. Прекрасно, что? Пустяк: французскую куклу. Деньги она мне даст. Уже интереснее, но где я возьму куклу? Оказывается, на Кузнецком Мосту есть магазин, в котором она продается. И бабушка назвала мне какое-то французское имя владельца, что ли. Я быстренько прокрутил в голове топографию Кузнецкого Моста, но не вспомнил. Бабушка настаивала, что это совсем рядом с... ну, в общем, с Домом моделей. Я ответил, что никакого «кукольного» магазина там нет. Бабушка раскричалась и закатила скандал. На него немедленно откликнулся отец, явился из мастерской: в чем дело? Я объясняю, но бабушка перебивает, упирая на то, что я не желаю купить для нее куклу. Отец, надо отдать ему должное, сразу просекает суть вопроса, и мне достается теперь от него. Ну, по шее там — ладно, но тон! «Как ты смеешь противоречить?! Бабке нужна кукла! — гремит он без тени юмора. — У нее возраст такой! А ты, сукин сын!» — ну и дальше краткая характеристика, кто я есть на самом деле, а не внук. Но тут мной овладевает бес, и я сам уже кричу: «Ты послушай, где я должен взять эту куклу!» — «На Кузнецком!» — кричит бабушка почти в истерике. «На Кузнецком! — кричит и отец. — Чего тебе еще неясно?!» — «Где — на Кузнецком, послушай?» — я уже в отчаянии. Отец почти рычит: «Мать, где на Кузнец-

ком?!» Она начинает, горько вздыхая, объяснять, утверждая, что сама там была... не так давно, и я вижу, как столбенеет отец. Он переводит взгляд с нее на меня и обратно. Я молча рыдаю от хохота. Отец яростными глазами упирается в меня и вкрадчиво спрашивает у нее: «Мать, ты когда была у своих кукол в последний раз?» — «В двенадцатом году», — сухо отвечает она. Я вижу, что отцу сейчас всерьез станет плохо: «Пап!» — «Уйди с глаз! Мать, — говорит уже вкрадчиво, — прошли революции, войны, ну почему ты уверена, что там до сих пор продают твоих кукол?» Из бабушки вылезает графиня. Или княгиня, не знаю. Она принимает гордую позу и холодно отвечает: «А какое отношение ваши революции имеют к моим куклам?» Полный финиш. Отец выскакивает в коридор, и я слышу там звуки, похожие на рыданье...

Куклу мы потом, конечно, нашли и подарили, не французскую, но тоже большую. С тех пор в доме появился новый термин: любой невыполнимый проект стали называть «французской куклой».



Вернемся к нашему с ним разговору во время позирования, — я ж не только пел, я и его расспрашивал, и стихи читал. В частности, задевшее меня тогда брюсовское стихотворение: «Быть может, эти электроны — миры, где пять материков, свои законы, войны, троны и память сорока веков...» Я прочитал стихотворение с «богатым» внутренним пафосом. Именно в те годы подобная информация будоражила воображение. Мистика вдруг поражала своей реальностью, как ни странно, космическая эра у дверей словно бы пробудила интерес к библейским текстам, в газетах писали о всяких извечных загадках, которые тут же и расшифровывали с помощью тех же библейских пророчеств, Книг пророков Исаии и Иезекииля. Словом, было о чем поговорить. Не случалось у нас разговоров на эту тему прежде. Я и спросил: «Пап, а как ты, вообще, относишься к Божественному началу? Веришь — нет?» Он пожал плечами и спокойно ответил: «А что, вполне может быть... Мир — неисчерпаем, сам же только что прочитал. Но с чего-то ж, наверное, началось? — хмыкнул, улыбнулся. — Или с кого-то? Помнишь, у Микеланджело?»

Этот великий художник всегда был для него подлинным богом.

А напомнил он о фресках в Сикстинской капелле. Недавно отец вернул-

ся из первого путешествия вокруг Европы на теплоходе «Победа», побывал в нескольких странах, привез массу книг по искусству, буклеты, фотографии. Потрясающее, невиданное у нас в те годы качество полиграфии! Но отец был вне себя от восторга, увидев оригиналы гигантов Возрождения. Впервые — и не на фотографиях.

Димочка Налбандян, его друг, при виде полиграфической красоты мрачнел и ругался. Его жена Валентина — он ее называл «мой Валэнтин» — все доллары, и свои, и его, истратила в модных магазинах Греции, Италии, Франции, на остальные — в Голландии, Дании и Швеции — не хватило. Несчастный Мито-джан, как его звали в дружеском кругу, даже в Лувр тогда не попал: «Мой Валэнтин говорит, какой-то магазын надо смотрэт!» А Александр Михайлович Герасимов, в ту пору президент Академии художеств СССР, который предложил себя гидом отцу и Налбандян, ибо знал Париж, не говоря уже о Лувре, как свои пять пальцев, еще с тридцатых годов, только руками всплескивал: «Ну, милый друг, и чаво ента деется!» Это он имел в виду кровные интересы художника в Париже. Что ж делать, каждый изучал мир по-своему...

А Герасимов всегда под простачка играл, и разговаривал, как тамбовский прасол: «И чавой-та ты, милый друг, нясешь?» Это когда ему чья-то речь не нравилась.

Или в другой раз, когда я увидел на стене у него в мастерской великолепную черную гитару с двумя грифами. Истинное цыганское чудо! Я и сказал что-то по этому поводу. А в ответ услышал буквально следующее: «А чаво ента ты, милый друг, про цыганщину-то мне нясешь? Ить это хто об ей ране думал? Их благородия, господа гусары, да их степенства, господа купшы. А таперь кому это дело надо, а? Классам? Нет, милый друг, межклассовой прослойке!»

К слову, был такой художественный критик Анатолий Членов. Однажды в своем выступлении — то ли в Академии художеств, то ли на собрании МОСХа, он «понес» Александра Михайловича — уже не президента в ту пору, можно было не бояться, а Герасимов, сидя в зале, слушал, слушал, а потом спрашивает свою соседку — девицу из художественных критикесс: «Милая, а скажи-ка, ента хто?» Она отвечает: «Членов, критик». Александр Михайлович понял, усмехнулся, покачал головой и довольно громко заявил: «Ишь, чем таперь критякують!» Соседи улеглись под стулья.

Он ко мне очень хорошо относился, и случались ситуации просто невероятно комические, рассказу обязательно, только подальше.

Так почему все-таки возникла эта тема в разговоре с отцом, спросишь ты? Сама по себе религия в те времена никого из нас не волновала, и слово «Библия» если и звучало в разговорах, то лишь как источник сюжетов и образов в искусстве и литературе прошлых веков. В институте мы изучали это дело здорово, все музеи были к нашим услугам, все гениальные произведения мира тоже были известны — и, действительно, при чем здесь религия? Были воспитаны атеистами. Но вот в творчестве Вучетича эта тема тем не менее нашла свое отражение... Или — воплощение? — трудно решить, как точнее.

А про отца могу сказать, уже с сегодняшней своей позиции, разумеется, что его тогдашнее отношение к божественному началу исчерпывалось, очевидно, классическими сюжетами. Две его мастерские в Москве последовательно располагались в двух церквях. Первая — в церкви Илии Пророка в Обыденских переулках. Там, я помню, создавался памятник Ватутину, а я позировал для мальчика на боковом рельефе. Объемы там были грандиозные. А перед этим там же Анатолий Андреевич Горпенко создавал из цветной смальты настенный декор в зале славы с книгой имен погибших героев, расположенной в постаменте берлинского памятника. В конце сороковых мы, мальчишки, играли кусочками смальты — рубинами, изумрудами, малахитами, кусочками золота, представляя в своих руках подлинности, раскиданные вокруг церковного здания.

Это я говорю к тому, чтобы у кого-то вдруг не возникло мысли, будто художника тогда должна была мучить совесть: мол, церковное здание употреблено для бытовых нужд. В данном случае художественных. Так было у всех, и ни у кого тогда не возникало сомнений, что так надо. Гадить не следовало вокруг себя, это — другое дело. Художники и не гадили, а творчество ведь — процесс отчасти и божественный, никуда не денешься.

А вторая мастерская была в нынешней церкви Рождества Богородицы, на Солянке. Пока отец не построил себе собственную мастерскую в Тимирязевке. А после него на Солянку переехал, по-моему, скульптор Григорий Нерода. Да и вообще, многие московские церкви использовались тогда в хозяйственных и художественных нуждах. Скажем, мастерская Сергея Орлова, автора «Юрия Долгорукова», находилась в церкви Николая Чудотворца, напротив Белорусского вокзала.

Но вот церковь Климента на Пятницкой улице, ну, где Климентовский переулок, говорят, спас от буквального уничтожения сам Клим Ворошилов. Мне рассказывал отец Леонид, настоятель храма, что Ворошилов приказал перевезти туда за одну ночь какие-то очень важные фонды Ленинской библиотеки, которые нельзя было, что называется, трогать руками, сохранив тем самым и здание, и передав внутреннее помещение с богатейшим иконостасом, не замазанным и не забеленным, под книгохранилище. Правда, теперь церковь все равно требует реставрации. Но хоть сохранилась! А недавно я был в этом поистине замечательном в архитектурном отношении храме. Этот приход — как правильнее сказать? — принял отец Леонид, между прочим, внук Бориса Леонидовича Вучетича, стало быть, мой двоюродный или троюродный племянник. Вот как времена меняются. И живи сейчас Евгений Викторович, я, честно говоря, не знаю, что бы он сказал по этому поводу. Все-таки сын его любимой племянницы Ирины, ставшей тоже скульптором. А может быть, он искренно поздравил бы этого своего внучатого племянника с высоким назначением. Ничего нельзя исключить...

Кстати, я думаю, будет очень уместно именно здесь сказать несколько теплых слов и об Ире, которую мы, увы, тоже похоронили. Знакомство отца с этой семьей Вучетичей произошло в 65-м, почти анекдотически. Евгению Викторовичу звонит архитектор Захаров. Они вместе строили памятник Дзержинскому в Москве, готовили проект памятника Победе, были близко и хорошо знакомы. А Григорий Алексеевич был тогда ректором Строгановки. Звонит он, значит, и говорит: «Женя, в чем дело? Ты почему скрывал, что у тебя есть взрослая дочь?» Изумлению Вучетича не было предела. «Какая? Откуда?» — «Уж не знаю откуда, но мы ее принимаем в наше художественное училище!» И после ряда «непоняток» они выяснили наконец, что Ира была дочерью Бориса Леонидовича, с которым отец захотел немедленно познакомиться. А не приходила она к «важному» дяде только потому, что хотела сама всем доказать, что может стать скульптором. Без всякого «семейного блага». Такая вот, гордая! Ну, естественно, тут же состоялось знакомство, отец был в восторге от новой родни. Только вот решил, что в Строгановке настоящему скульптору делать нечего, в смысле учиться, там же прикладники учатся, и постарался перевести Иру в институт имени Сурикова — на скульптурное отделение, которое она и закончила успешно. Позже это же скульптурное отделение окончил и сын ее Ленья, но он стал

служить в церкви. И вот тебе — один из потрясающих жизненных парадоксов: Ирина и ее муж Дмитрий Калинин, тоже скульптор, — он позже работал с Вучетичем, — занимались созданием и оформлением нижней церкви храма Христа Спасителя... под фактическим руководством собственного сына — отца Леонида, получившего благословение от патриарха на участие в возрождении храма.

А по поводу Бориса Леонидовича Евгений Викторович сказал мне так: «Если хочешь увидеть, каким был твой дед Виктор Вячеславович, посмотри на Бориса. Фигура, походка, даже уши — точная копия моего отца! Я увидел — обомлел...» Вот они, родовые связи, по каким ветвям передаются...

Что же касается вопросов религии, то о ней ведь, как таковой, я повторюсь, в те годы не было принято рассуждать, особенно в среде советской интеллигенции. Отделена от государства, вот и пусть сама занимается своими проблемами. Хотя, кто хотел верить, тот, конечно, верил, и в церковь ходил, — она, во всяком случае, не пустовала. Но — молча ходили, главным образом старики и старушки, калеки и нищие. Вот нам, мальчишкам, не разрешалось, но все равно те же учителя относились к собственным запретам спустя рукава. А большинство если и верило, то, как правило, скрывало свою веру: от начальства попасть могло! К тому же народ активно «строил коммунизм», и большинство — все-таки сознательно, и ждали его прихода, потому и поверили Хрущеву, что бы теперь ни врали «перекрасившиеся» большевики.

А вот пример «из Вучетича». Помню, в пятьдесят четвертом году, во время открытия памятника Александру Матросову в Великих Луках, из чьих-то уст в окружении первого секретаря обкома партии Ивана Харина прозвучала любопытная фраза: «Будто крест несет...» И повисла пауза. Но никто не отреагировал. А там действительно есть одна точка — спереди слева, глядя с которой на памятник зритель видит падающего вперед, как бы на амбразуру, человека, левая рука которого распахивает на груди полушубок, а правая держит перед собой крест. Ну, не крест, конечно, — автомат, но диск ППШ именно с этой точки видится короткой прямой перекладиной.

Не думаю, чтобы отец заметил тогда, что я услышал сказанное и, тем более, запомнил. Он как-то отшутился, и тема там же исчерпалась сама. Но позже, года два-три спустя, когда у нас дома затеялся разговор о важнейших деталях в искусстве вообще, а в скульптуре в частности, я, обожая приди-

раться к мелочам, кинул такой провокационный вопросик: а зачем, мол, автомат у Матросова, если в нем уже нет патронов? В смысле отстрелялся, и остался только прыжок на амбразуру? По логике — отбросил бы в сторону, чтоб не мешал? Лишняя деталь? А отец посмотрел на меня хитрым таким, двусмысленным взглядом и задал встречный вопрос: «А где ты видел автомат?» Он любил подбрасывать такие вопросы, в которых очевидное иной раз становилось далеко не однозначным. Тест, наверное, своего рода. Я не стал возвращаться к давней фразе, произнесенной на открытии памятника, и сказал: «Да, там есть одна точка...» — то есть проявил «понимание» и на том остановился. А отец, кажется, был вполне этим удовлетворен. Во всяком случае, автомат, как художественную деталь, мы оставили в покое. А гипотетический крест — он-то остался... Вот так и получалось: и да и нет.

Не исключаю, что подобный «дуализм», что ли, у Вучетича именно в то время был связан отчасти и с тем, что чуть раньше, по-моему в 1956 году, возник замысел, а затем идея воплотилась и в реальные формы, идея, уже буквально заимствованная им из Библии, и, в виде скульптурной композиции, получившая всемирное признание. Речь о скульптуре «Перекуем мечи на орала».

И еще напоследок, раз уж затронули Матросова. После открытия местного руководство устроило банкет на природе. Несколькими машинами отправились к Иван-озеру, где и «накрыли полянку».

Все шло своим чередом, говорили речи, произносили тосты, выпивали. А Володька, мой младший брат, который был с нами, исчез. Я пошел было искать его — леса же кругом, в которых война недавно прошла. А он сам выходит и — прямо к костру, вокруг которого все начальство разместилось. И в руках у него... неразорвавшаяся мина. Небольшая, со стабилизатором, ржавая. Все, и я в том числе, замерли. Встал отец, сказал Володьке: «Ишь, чего нашел! Только не бросай, дай-ка мне ее подержать». Спокойно забрал у него мину, потом подошел к берегу озера и, размахнувшись, зашвырнул ее метров за полсотни, в воду. Плюх! И сразу общий вздох. А отец усмехнулся, пожал плечами и сел на место. Володьке сказал: «Не бегай в лес... — А потом добавил мне: — А ты куда смотришь..?» — а дальше уже непечатное, к вашему удовольствию «высокой» публики, и сердито покачал головой.

Ничего, что я немножко сумбурно? Ну, так складывается. Зато обещаю, что дальше постараюсь «увязывать» сюжет поточнее...